
СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ
ПОЛТАВСКАЯ БИТВА
1709
ТОМ 6

Сергей Князев

Полтавская битва 1709 - Том 6

«Автор»
2026

Князев С.

Полтавская битва 1709 - Том 6 / С. Князев — «Автор», 2026

Я погиб, вытаскивая своего бойца из-под огня, и очнулся под Полтавой. 1709 год. Теперь я капрал Андрей Рябов, которого собственные солдаты считают трусом. Впереди шведская пехота, в руках непривычная фузея, за плечами опыт современной войны. Я заставлю этот опыт работать: удержу строй, сберегу людей и поведу их вперёд. От недостроенного редута до решающей атаки вместе с царём Петром Первым. Нам предстоит разгромить шведов и вырвать победу, которая изменит судьбу России.

© Князев С., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 13
Глава 3 22
Глава 4 32
Глава 5 40
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Сергей Князев
Полтавская битва 1709 - Том 6

Глава 1

И тут тело вспомнило.

Боль. Резкая, физическая, отдающая в бок. Шрам на правом боку заныл, стягивая кожу. Холод зимней ночи пробрал сквозь тёплые стены избы. Запах мокрой соломы, пота и крови.

Перед глазами всплыла сцена. Тёмная ночь. Сани, скрипящие полозьями по насту. Человек в сером плаще. Серебро, звенящее в кулаке. «За солдата-свидетеля». Нож в чужой руке. Моя кисть, скованная чужими пальцами. Я не бил. Я пытался высвободиться, уходя от клинка. Из темноты шагнул Степан — он бросился между нами, и клинок наёмника достал его. Чужое лезвие задело и мой бок. Я рванулся к Степану, вцепился в его плащ — с него сорвалась пуговица. Оловянная. В борьбе нож выпал из руки наёмника, и я успел поднять его — не для удара, для защиты. Боль. Темнота.

Я открыл глаза. Пот выступил на лбу. Я подошёл к старой зимней куртке, которая висела на гвозде в углу избы. Куртку я не носил с той зимы. Ту, в которой спал Степан, пока я лежал в лазарете. Левой рукой я снял её с гвоздя, нащупал у шва распоротый кармашек под подкладкой и вытащил оттуда пуговицу.

Маленькую, круглую, с плетёным кантом. Металл был холодным — с той зимы она пролежала под подкладкой, скрытая от глаз.

Аксинья увидела её. Её губы дрогнули.

— Откуда это? — спросила она.

— Из подкладки, — сказал я, и голос прозвучал чужим, хриплым. — С того плаща. Скажи роду, чья.

Аксинья не ответила. Она накрыла мою ладонь с пуговицей и сжала, будто запирая железку в кулаке. Закричала беззвучно, открыв рот, но не издав ни звука. Постояла так, не разжимая моих пальцев, потом разом отпустила руку и выбежала из избы. Дверь хлопнула, заглушив её всхлип. Пуговица осталась у меня: род должен услышать правду от Степана.

Я остался у стола. Пряха молчал. Груня смотрела на соединённый лист.

— Теперь ты знаешь, — сказал я, и шрам на боку снова заныл, будто спорил со мной.

— Знаю. Что удар нанёс не ты. Но и не ты его остановил. Ты был там.

— Да.

— И Степан тоже.

— Да.

Она кивнула. Медленно.

— Завтра. Весь род. И Степан скажет сам.

***

Дорога к казарме была короткой, но тянулась бесконечно. Ночь обступала лагерь со всех сторон. Костры горели ровно, тени плясали на лицах часовых. Я шёл быстрым шагом, чувствуя, как внутри всё ещё звенит эхо той ночи.

Пряха шёл рядом. Он не спрашивал. Не утешал. Он просто шёл, как идёт учитель за учеником после первой настоящей драки.

— Почерк ты прочёл верно, — сказал Пряха наконец ровно, буднично. — Но писарь — ещё не наниматель. Дьячок не работает один. За ним стоит сеть. Староста продавал сведения обеим сторонам. Дьячок писал заказы для тех, кто платил выше.

— Кто платил выше?

— Не знаю. Но знаю цену. Если бы ты тогда, зимой, умер, армия потеряла бы дозорника. Степан выжил — и молчит. Пока он сам не расскажет, как всё было, род не услышит правды. Нужно услышать его.

— Он боится не меня. Он боится себя.

Пряха остановился. Мы уже дошли до ворот лагеря. Свет факелов выхватывал его морщинистое лицо.

— Завтра будет суд, — сказал он. — Не военный. Родовой. Там решают не параграфами. Там решают кровью и хлебом. Ты готов?

— Я готов платить.

— Платить мало. Нужно, чтобы тебя приняли обратно. В семью. В отряд. В армию.

— Меня уже приняли, — ответил я. — Оська принёс горшок. Кузьма держит первую пару. Пряха учит тишине.

Старик усмехнулся. Одной стороной рта.

— Тогда идём. Спи. Завтра будет длинный день.

Я кивнул. Пуговица в кармане лежала под левыми пальцами. Я не отдал её Аксинье окончательно. Она была уликой. Моим ключом. Завтра я положу её перед Степаном. И пусть род сам увидит, что пряталось за той зимней ночью.

Я вошёл в барак. Теснота, храп, запах сапожной мази. Федька лежал на соседних нарах, перевязанный, но живой. Оська спал, свернувшись клубком, обнимая свой журнал трофеев. Кузьма сидел у окна, глядя в темноту.

Он повернул голову, когда я вошёл.

— Нашёл? — спросил он вполголоса.

— Нашёл след, — ответил я. — Подтверждение. И причину.

Кузьма выдохнул. Долго, тяжело, как выдыхают воздух из лёгких после утопления.

— Тогда завтра мы едем в слободу.

— Завтра, — согласился я. — Завтра разберём прошлое по нитке — и пусть оно останется позади.

Лёг на нары. Правая болела, пульсировала в такт сердцу. Левая лежала поверх одеяла, расслабленная. Я закрыл глаза. Перед внутренним взором снова мелькнула ночная сцена: сани, плащ, серебро. И чужая кисть, сковавшая мою. Я больше не боялся этого сна. Ответ теперь лежал в вещах — в железе, в бумаге. Память могла подводить, железо нет.

Зима закончилась. Началась расплата.

***

Пыль стояла столбом, плотная, как мука в мешке, и солнце било в глаза так, что перед ними плясали черные круги. Двор дома Кожиных был тесным, зажатым плетнем с одной стороны и избой с другой, и мне в нём не хватало воздуха. Здесь ответ перед родом нельзя было утаить: ложь в таком дворе прозвучала бы до самой околицы.

Я вошёл последним. Пряха остался у калитки, скрестив руки на груди, но я знал: он не отпустит меня одного. Степан сидел на лавке, бледный, опираясь на костыль. Рядом Авдотья, сухая и прямая, как строгальная доска. Аксинья стояла у порога, прижавшись спиной к косяку. Груня сидела на чурбаке, глядя себе под ноги. И двое молодых племянников, Тихон и его брат, торчали по бокам двора, готовые рвануть, если что-то пойдёт не так. Кулаки их были сжаты. Я опасался: малые чего доброго затеют драку, лишь бы хлестнуло, лишь бы спустило напряжение той зимней ночи.

— Нож! — выкрикнул Тихон. Голос его сорвался, звеня злобой. — Положи оружие на стол, капрал. Если ты чист — тебе нечего бояться.

Это была ловушка. Взять нож в левой руке и положить остриём к ним — вызов. Остаться без оружия — слабость, признание вины. Я не стал спорить. Не стал оправдываться словами, которые здесь стоили меньше пыли под сапогами.

Левой рукой я медленно снял нож «А. Р.» с пояса. Лезвие блеснуло в пыльном воздухе, холодное и тяжёлое. Я повернул его рукоятью к Степану и положил на скамью между нами. Клинок лёг ровно, параллельно краю доски.

— Нож здесь, — сказал я вполголоса, но так, что слышно стало всем до последнего ряда огорода. — Но судить им никто не будет. Судить будут железо и слово.

Тихон дёрнулся, хотел схватить оружие, но Пряха шагнул из тени калитки. Старик не повысил голоса, он просто переступил порог двора, и его фигура, сухая и неподвижная, остановила парня лучше любой команды ротного.

— Сперва бумага, потом язык, — произнёс Пряха. Его взгляд прошёл поверх голов, упёрся в самого старого человека во дворе — деда-солдата, который сидел в углу под навесом и молчал весь сход. — Бумага не врёт. Язык путается.

Дед поднял голову. Лицо его было покрыто морщинами, как кора старого вяза. Он посмотрел на нож, потом на меня. В его глазах не было ненависти. Было ожидание приговора.

— Показывай, — сказал он хрипло.

На стол, где лежали остатки трапезы, крошки хлеба и глиняная миска, я положил половинку заказного листа. Вторую половину Аксинья вынесла сама. Она не смотрела на меня. Её пальцы дрожали, когда она клала свёрток рядом с моим.

Две части легли вплотную. Срез сошёлся: волокна сомкнулись, чернильная кромка потянулась в непрерывную строку. Тот же угловатый, резкий почерк — гвозди, забитые в сырое дерево.

Груня взяла лист первой. Она провела пальцем по буквам, шевеля губами, — так же, как я вёл пальцем по следу на глине.

— Это не Гнедин, — сказала она вдруг. Голос её был тихим, но в тишине двора прозвучал как гром. — Гнедин писал круглые буквы, как пуговицы. Этот пишет угловато. Как староста дальше слободы... нет, не он. Другой.

Пряха подошёл к столу. Наклонился. Провёл ногтем по строке «за солдата-свидетеля».

— Дьячок приказного круга, — произнёс он. — Тот, что писал расписки торговцам и маячные ведомости. Гнедин пишет иначе.

Рука была названа, но не имя. Дьячок приказного круга — вот всё, что стояло пока за этим почерком. Степана я из подозрений не вычёркивал — пока он не скажет сам, кто навёл, род не вычеркнет и меня.

Степан зашевелился. Я угадывал его ход: заговорить раньше, чем правда дойдёт до него самого.

— Я не помню, кто давал... Темно было... Сани скрипели... — начал он, голос его жалобный, ломающийся. Он тянул время — так мне показалось, — ставя на жалость: пусть род решит, что лучше шведская пуля, чем своя расправа над хозяином.

Я не перебивал. Злость была ни к чему: она сжигает того, кто сердится, а рядом стоящим только мешает думать. Мне нужно было другое. Мне нужно было, чтобы он увидел вещь, которую разумом не отвертишь.

Я достал пуговицу из своего кармана — вчера найденную под подкладкой зимней куртки. Маленькую, круглую, оловянную, с плетёным кантом. Металл так и не прогрелся в моей ладони.

Я подошёл к Степану. Так близко, что чувствовал запах болезни от него — кислый, сладковатый дух гниющей раны. Не положил пуговицу на стол — и не бросил её ему в лицо.

Я раскрыл его ладонь. Он вздрогнул, хотел отдёрнуть руку, но узнал железку — и застыл, будто держал собственный тайный страх. Я опустил пуговицу на его открытую ладонь. Как дар. Как приговор.

— Из-под подкладки, — сказал я хрипло, будто слова были не мои. — С того плаща. Скажи роду, чья.

Тишина стала физической тяжестью. Воздух загустел. Аксинья закрыла глаза. Авдотья перекрестилась медленно, большим жестом.

Степан смотрел на пуговицу. Пальцы его сомкнулись вокруг неё сами собой. Он узнал её: она была с его собственного парадного плаща — того, в котором я видел его в ту ночь. Мне казалось, для него это стало яснее всяких слов: железка говорила, что я был там и помню детали той ночи. Всё остальное должен был подтвердить его собственный голос.

Под взглядом всего рода, под давлением этой маленькой вещи, Степан сломался. Он не кричал. Он шептал, и звук слышался даже в дальнем углу двора:

— Это... это моя. Я потерял её... в санях. Когда бежал.

Он замолчал, но двор не отпускал тишину, и стены плетня стояли за его спиной.

— Дьячок платил, — прошептал он наконец. — За наводку. Сказал: солдат-свидетель, что ходит по следам, должен пропасть зимой. Мне обещали долю с муки. Я привёл сани с людьми, показал, где ты будешь, и хотел уйти. А когда наёмник занёс нож — я бросился между вами, и его клинок достал меня. Лезвие задело и твою сторону; ты вцепился в мой плащ, сорвав пуговицу. В борьбе нож выпал из его руки, и ты поднял его, чтобы отбить следующий удар. Последнее, что видел, — как ты держал его, защищаясь. Я бежал. С той зимы боялся себя.

Мне думалось, признание его рождалось из невозможности отрицать железо. Пуговица, бумага, его собственное слово и мои семь шагов сошлись в один узел. И, судя по молчанию двора, род услышал то же: Андрей не лжёт. Зимой он не наносил удара. За заказ отвечал дьячок приказного круга, а кто платил самому дьячку сверху — то звено род ещё не знал.

Авдотья поднялась, не согнув спины.

— Слово — на бумагу, — сказала она. — Пусть сержант Клоков примет показание, писарь запишет, и Степан подпишет собственной рукой. А с его доли в хозяйстве — возмещение двору. Род не прощает за спасение и не отвечает за своё молчанием.

Я взял нож «А. Р.» со скамьи. Вблизи осмотрел потёртую рукоять с семью глубокими бороздками и перевернул его, показывая всем. Кто и когда их нанёс, я не знал — но сегодня они годились в счёт.

— Смотрите, — сказал я. — Тут семь шагов.

Я начал рассказывать движением пальцев по дереву. Каждый шаг зимней ночи ложился на зарубку.

— Первый шаг. Сани скрипят. Холод пробивает через ватник.

— Второй. Человек в сером плаще. Серебро звенит в кулаке. «За солдата-свидетеля».

— Третий. Нож в чужой руке. Моя кисть скована чужими пальцами. Я не бил. Я защищался.

— Четвёртый. Шаг Степана из темноты — он бросился между нами. Клинок наёмника достал его.

— Пятый. Чужое лезвие задело и мой бок. Я рванулся к Степану, вцепился в его плащ — пуговица сорвалась.

— Шестой. В борьбе нож выпал из руки наёмника. Я поднял его — не бить, для защиты.

— Седьмой. Тьма.

Я закончил и положил нож обратно на скамью. Руки не дрожали. Внутри было пусто и чисто, как комната после генеральной уборки.

Аксинья шумно втянула воздух, и он вырвался из неё со стоном. Долго, надрывно. Она развернулась и выбежала из двора. Через минуту послышался шум воды. Похоже, она мыла руки. Не от грязи. От крови прошлого.

Из-под навеса вышел Савва Круглов. Старый обозник, что вставал против меня перед строем и говорил при всех, что хромой командир с одной рукой не выучит никого. Он подошёл к нам. Лицо его было мрачным, но, как мне показалось, с уважением. Тяжёлым, добытым ценой ошибок.

Он шагнул ближе и коснулся пальцем медной полковой бирки, что уже висела у меня на шее в этой кампании, — данной мне им самим под его поручительство.

— Ты слышал, что я о тебе говорил, — сказал Савва ровно, деловито. — Чтобы знал, кто за тобой стоит. Я был против тебя дважды. Первый раз — потому что ты хромой. Второй раз — потому что ты умный. Теперь я за тебя. Потому что ты прав.

Савва прижал ладонь к бирке на моей груди — старое поручительство подтвердил перед родом, как перезакрепляют зарубку на столбе. Медь была тёплой от его руки. Живой.

Прежде чем принять это, я достал серебряную пряжку Груни — ту, что держал у себя как залог до правды.

— Договор был: вернёшь в сбрую, — сказал я.

Девочка сбегала в конюшню и вынесла потёртый нагрудник конской сбруи. Левой рукой я продел пряжку в ремешок и затянул. Груня смотрела на неё долго. Потом сама расстегнула ремешок, сняла пряжку и вложила обратно в мою ладонь, коснувшись её холодными пальцами.

— Пряжка — знак рода, — шепнула она, не поднимая глаз. — Теперь это не залог. Дар. Бирка — знак службы. Не путай их. Род простит ошибку. Армия — нет.

Так род признавал меня своим — хозяином своего долга. Во всяком случае, я услышал это именно так.

В этот момент за плетнем послышался топот копыт. Быстрый, нервный — скачка одиночки. Кузьма Шумов, стоявший у ворот «для охраны», сорвался с места. Сначала он перехватил всадника у самых ворот двора, загородив путь телом, и крикнул:

— Стой! Чей будешь?

Голос его был сорванный, злой — мне показалось: человек, только что переживший родовой суд, ждал продолжения крови.

Всадник — молодой писарь штаба армии, красный от жары, запыхавшийся. В руке он сжимал трубку с сургучом.

— Приказ бригадира! — крикнул он, пытаясь объехать Кузьму. — Сбор всех добровольных партий! Немедленно! Армия выступает к Ворскле! Головной дозор — партия Рябова!

Кузьма пропустил его, но обернулся ко мне. В глазах его, как мне почудилось, стояло тупое недоумение. Немедленно? Мы только что закончили суд. Только что приняли решение жить дальше. А война уже требовала нас обратно в мясорубку.

Я подошёл к воротам. Не спрашивал разрешения у писаря. Забрал бумагу. Читал вслух, быстро, глазами, привыкшими видеть суть через канцеляризмы:

«...в связи с обнаружением шведского авангарда у переправ... головной дозор колонны — отдельная разведывательная партия унтер-офицера Рябова... выступление с рассветом...»

Я сложил бумагу и убрал её за пазуху, к груди; бирка на шее качнулась и легла поверх бумаги. Развернулся к Пряхе.

— Сборы. Один час.

Пряха кивнул. Ни слова. Цену этого часа он знал, я думал, не хуже меня.

Я повернулся к Аксинье. Она вышла из сеней. Между нами — три шага пыли и одна жизнь.

— Я иду, — сказал я.

Аксинья молчала. Потом она сделала одно движение: подняла руку и поправила воротник моей рубахи, там, где скрыта медная бирка. Пальцы её коснулись металла — тёплого от моего тела.

— Вернёшься — свадьба, — произнесла она. Голос ровный, без интонации вопроса. Так говорят о том, что уже решено: «завтра будет дождь».

— После похода, — уточнил я.

— После похода, — согласилась она. И опустила руки.

Мы поняли друг друга без лишних слов: слово дано — и отложено до выполнения долга. Я шёл к воротам, и шаг был легче, чем положено перед походом.

Теперь мне осталось одно — вернуться. После похода.

Глава 2

Лопату принёс Кузьма — Митрохину, сапёрную, работающую, с черенком, натёртым до блеска чужих мозолей. Она была инструментом труда: копать могилу, окоп, гать, по которой живые выходят из болота. Но Митроха ненавидел лопату больше всего на свете. Он говорил, что она пахнет землёй, которая хочет тебя съесть.

Перед выходом к матери Митрохи я завершил сдачу улик по бумагам. Отдал Пряхе обе половины заказного листа — мою, выданную Клоковым мне под расписку, и семейную, что Аксинья, узнав о сдаче, по своему согласию приложила к ней как новое доказательство по делу. Обе половины ушли одной связкой, под присмотром Пряхи. Сдавал их сержанту старик один — самой сдачи я не видел. Догнал нас он уже на дороге, за два поворота до одинокого двора: в ладони у него лежала короткая расписка Клокова в целости бумаги, и по ней я понял, что связка легла под опись в срок.

Кузьма шёл рядом, сжимая в кулаке шапку так, что ткань хрустела. Лицо его стало серым от бессонницы и внутреннего горения. Он рвался внутрь. Боялся я, что выложит матери всё как казённый рапорт.

— Стой, — сказал я вполголоса. Голос прозвучал хрипло в ночном воздухе, пахнущем полынью и дымом из труб слободы.

Кузьма вздрогнул, обернулся. В его глазах плескалась ярость загнанного зверя.

— Она моя по праву первой пары, командир. Я ей копал гать. Я должен...

— Лопата — полку, — перебил я, не повышая тона. Слова легли холодно, как сталь ножа. — Это рабочий инструмент: гать, окоп, переправа. Оська оставит её в обозе — она ещё послужит живым. Матери принесём ложку и живой рассказ. Расскажем, как он жил.

Кузьма открыл рот, чтобы возразить, но слова застряли в горле. Он посмотрел на лопату, потом на свои руки. Плечи его опали. Мне подумалось, что он сейчас как мальчишка, принесший в школу грязный ботинок вместо открытки, — и стыд, кажется, подействовал на него сильнее любого приказа. Шапка в его руках смялась окончательно.

— А что ей дать? — шептал он, глядя в темноту дороги.

— Руку и хлеб, — ответил я. — И правду. Живую. Без протокола.

Мы пошли дальше. У самого двора я попросил оставить лопату в обозе — партии она ещё послужит на переправах. Кузьма молча передал её Оське перед входом к матери. Оська уложил железо в воз. Впереди мерцали тусклые огни одинокого двора.

Оська успел взять горшок и обогнал нас до крыльца. Мальчонка бежал впереди, самовольничая, как всегда. Но сейчас он не кричал, не махал руками. Он стоял на ступеньках, держа в руках глиняный горшок, накрытый холстиной. От горшка шёл пар, белый и густой,

смешивающийся с туманом ночи. Пахло вареной полбой — трофейной крупой с мельницы, которую мы отбили у Хьельма.

— Ты чего тут? — рявкнул Кузьма, раздражённый своей растерянностью.

Оська смотрел себе под ноги. Он аккуратно поставил горшок на порог, так, чтобы тепло шло вверх.

— Полба, — буркнул он себе под нос. — Из мельницы. Пахнет лучше, чем ваши слова.

Он отвернулся, глядя в окно, где колыхалась занавеска.

— Сначала еда, — добавил он глухо. — Потом слёзы. Слёзы солёные, испортят кашу.

Это была мудрость, добытая ценой чужой крови. Голодный солдат думает о еде. Сытый солдат может говорить о жизни. Сытый человек сперва ест, а потом горюет — хлеб и горе живут в одном горшке рядом. Горшок стоял щитом против боли.

Я кивнул Пряхе, который молча следовал за нами, оставшись в тени калитки. Старый пластун ничего не сказал, только одобрительно хрюкнул, как бык. Мы вошли в избу.

Внутри было тепло и темно. Печь ещё держала жар. На лавке, спиной к нам, сидела старуха. Седина её волос сливалась с сумраком угла. Она не плакала. Она гладила столешницу руками, которые знали этот дом пятьдесят лет. При нашем появлении она не встала. Только повернула голову. Глаза её были сухими, выжженными двумя зимами ожидания.

Она смотрела не на меня. Она смотрела на Кузьму, и дальше — на меня, на поясницу, где у меня висел нож «А. Р.». Весь род Кожиных знал и про этот нож, и про ту ночь. Но здесь, в этой избе, судили не бумагами. Здесь судили памятью.

Кузьма шагнул вперёд. Он открыл рот, и я уж ждал казённой фразы вроде «Госпожа, ваш сын проявил стойкость...»

Старуха подняла руку. Один жест. Тишина повисла, плотная, как вата.

— Не рапорт, — сказала она голосом сухим, как солома. — Расскажи, каким был.

Кузьма замолчал. Он посмотрел на меня. Я кивнул — и этого хватило.

— Он мерил шагами гать, — начал Кузьма. Голос его дрогнул, но он продолжил. — И ругал овёс. Говорил, что овёс — еда для людей, коли голод. Он смеялся, когда падал в грязь. Говорил: «Земля целует».

Он достал из кармана деревянную ложку с обломанным краем — ту, что Оська перед уходом сам вложил ему в ладонь: «Неси. Это матери». Ещё при жизни Митрохи этой ложкой кормили раненых на привалах, и Федька помнил её у своего котелка. Он положил её на стол.

Старуха взяла ложку. Её пальцы, морщинистые и узловатые, обхватили черенок. Она грела её в ладонях, как ребёнка. Как живое существо, которое дышит.

— Значит, вырастила, — произнесла она вдруг. Тихо, но в тишине избы эти слова прозвучали громче залпа фузеи. — Если смеялся в грязи — значит, жил. Не умер героем. Жил человеком.

Она встала. Медленно, тяжело. Подошла к печи, достала краюху хлеба. Лома́ла её пополам. Одна половина упала на стол перед Кузьмой. Вторая — передо мной.

— Вернёшь мне Кузьму старшиной, — сказала она, глядя мне прямо в глаза. Про живых. Про того, кто несёт ответственность за чужих детей. — Живым — и возмужавшим. Чтобы люди за ним шли, потому что дорогу он знает.

Я взял хлеб. Тёплый. Я положил его в подсумок, рядом с маршрутным чертежом, который снял для нас Клоков перед выходом.

Тогда старуха подошла к сундуку под окном. Она долго рылась там, в темноте, среди старых тряпок и сушёной травы. Когда она выпрямилась, в руках у неё была странная вещь. Медный круг, вставленный в деревянную оправу. Внутри — намагниченная стальная стрелка на волоске. Компас-самоделка деда Митрохи.

— Железо должно ходить, — сказала она, протягивая компас мне. — Оно лежало в сундуке и ждало. Ему скучно. Пусть ходит и смотрит воду и землю.

Для меня это стало знаком доверия. Помню, недавно слышал я от них «нож твой — счёт твой». А тут они вручали мне дорогу.

Я взял компас. Проверил стрелку. Она дрогнула, вибрируя, и указала на север. Холодная медь прогрелась в моей левой руке мгновенно, словно помнила хозяйские пальцы.

— Спасибо.

— Скажи спасибо не мне, — ответила старуха. — Скажи ему. Что я дала тебе дорогу. А он дал тебе слово.

Оська вскинулся со скамейки.

— Компас! — крикнул он, забыв про тишину. — Он работает! Я видел, как Митроха им пользовался в тумане!

Он потянулся к вещам, но я остановил его терпеливым жестом.

— Не трогай. Это боевое. Ты научишься читать его, когда будешь готов. Сейчас — учись читать лица. Люди важнее стрелок.

Мальчонка замер, обиженный, но послушный. Стрелка ведёт, но вести надо к людям — иначе она укажет только могилу.

Вышли мы в ночь. Ветер свежий, пахнущий полынью и далёким дымом лагерных костров. Кузьма шёл легко, ровнее, чем всю дорогу до матери Митрохи, и нёс рассказ.

Лагерь встретил нас гулом голосов — нервным, прерывистым. Костры горели ровно, тени от пламени дрожали по стенам. Шатёр Клокова сиял светом свечи. Судя по огню, сержант не спал — ждал доклада о готовности.

Мы зашли внутрь. Пряха остался у входа, скрестив руки. Клоков не встал. Он писал, перо скрипело по бумаге, как зубья пилы.

— Доклад? — спросил он, не поднимая головы.

— Готовы.

Клоков бросил перо. Посмотрел на меня. В его взгляде читалось напряжение человека, который знает: завтра начнётся то, что нельзя отменить.

— Тогда садись, — приказал он. — Пишем устав. Твой метод теперь казённый.

Я сел на лавку напротив стола. Достал чистую тетрадь из запасов писаря Елисея. Перо было тяжёлым для больной правой кисти, поэтому я держал его левой, прислонив предплечье к столу. Почерк выходил крупным, угловатым, но ровным, как строка по натянутой нитке.

Начал я не с тактики. Начал с главы, которую называл «Память как снаряжение».

«Умирающий отдаёт своё дело живому вещью, которая делала это дело. Ложка кормит. Куртка греет. Компас ведёт. Железо служит. Тот, кто берёт вещь, берёт долг. Тот, кто носит вещь, обязан жить так, чтобы вещь не стала бесполезным грузом.»

Пряха, слушая мое тихое чтение вслух, кивнул.

— Пиши крупнее, — пробурчал он. — Читать будут другие. Те, кто нас не знал.

Кузьма, стоявший в углу, вдруг сделал шаг вперёд.

— А лопата? — спросил он. — Митрохина лопата? Она же тоже дело.

— Лопата копает могилы и окопы, Кузьма, а ещё гати, по которым живые уходят из болота. Митроха умер не за окоп. Он умер за человека. Ему нужен тот, кто будет жить вместо него. Пусть жребий решит, кому носить память. Не мы выбираем. Род выбирает.

Оська привёл Федьку в шатёр до раздачи — тот шёл, придерживая перевязь на пробитом насквозь плече. Куртку Митрохи, которую в походе носил сам, Федька снял с плеч.

— Кузьме отдай, — сказал он. — Мне она жизнь спасла, пусть и его греет.

Кузьма принял куртку молча, прижал к груди. Пряха выложил на стол два предмета, оставшиеся от узла вещей: старую шапку Митрохи и пустой мешок для зерна. Он завязал глаза двоим — Гордею и Юхану.

— Щупайте, — скомандовал Пряха.

Кузьма надел куртку поверх своей рубахи.

— Она тёплая, — сказал он глухо.

Гордей нашёл шапку. Он рассмеялся, натягивая её на уши.

— Пахнет табачным дымом. Живой запах.

Юхан нащупал мешок. Пустой. Он снял повязку, растерянно глядя на дырявую ткань.

— Это... мусор?

Пряха подошёл к нему.

— Мешок нужен тому, кто будет собирать урожай после нас, — сказал он спокойно. — Ты будешь возить муку для тех, кто придёт следом. Это тоже подвиг. Не всякий герой умеет считать рты.

Юхан смущённо улыбнулся, и кто-то у стола тихо засмеялся — впервые за весь вечер. Память перестала быть грузом скорби и стала работой. Я закрыл тетрадь.

— Завтра рассвет, — сказал Клоков, забирая тетрадь. — Армия снимается. Партия Рябова — головной дозор.

Ночь прошла быстро, как вспышка кремня. Мы спали урывками, вполглаза, привыкнув к тревожному сну войны.

На рассвете колонна тронулась. Земля ещё была мокрой от росы, трава примята. Я ехал верхом в боевой посадке, левой рукой держась за поводья; правая висела на перевязи, мёртвым грузом. Компас-самоделка лежал у меня на груди, под рубахой, над сердцем. Он ощущался как якорь реальности, маленький кусочек дома, который идёт в ад.

Партия шла пешком, растянувшись цепью. Оська бежал впереди, считывая ветер. Кузьма замыкал, следя за обозом.

Бугор виднелся плохо, сквозь утреннюю мглу. Сначала показалось, что это деревья. Искаженные силуэты, торчащие из земли. Но Оська замер. Он не крикнул сразу. Он просто поднял руку. Знак «стой».

Колонна застыла. Даже лошади перестали фыркать.

Перед нами, на повороте дороги, лежали люди. Восемь тел. Большая часть — навзничь, ближний лежал ничком. У лежавших навзничь руки были сложены на груди. Они не были похоронены. Их выставили напоказ, как витрину мясника.

Пряха подъехал ко мне.

— Нарочито, — шепнул он. — Так делают те, кто хочет, чтобы ты подошёл ближе. Чтобы посчитал. Чтобы узнал своих.

Так это было приглашение живым. Судя по размещению тел, засаду организовали заранее — и кто-то, похоже, знал нашу науку. Расчёт, по всему видному, был на дозорного командира — человека чести: такой подойдёт к убитым, сочтя их своими. А когда он подойдёт, его, должно быть, встретят стрелки из кустов.

Кузьма дёрнулся вперёд. Глаза его налились кровью. В нём боролось желание бежать к телам — может, узнать среди них кого-то из своих.

— Стоять! — крикнул я хрипом, сорванным от напряжения. — Не считаем. Не опознаём. Пока.

Кузьма замер, как будто получил удар в грудь.

— Оська, — сказал я, не оборачиваясь. — Читай воду. Где здесь можно пройти тихо? Под их носами.

Мальчонка теперь работал пластуном. Он побежал к ближайшему ручью, проверяя дно палкой, считывая струи. Двигался он быстро, уверенно.

— Там, дядя Андрей! — позвал он, не повышая голоса. — Под бугром промоина. Мы пролезем. Тела останутся справа.

Я принял маршрут. Игнорируем приманку. Врагу не увидеть нашей боли: боль читают в глазах. Мы должны были выглядеть как машина, как армейская единица, которая считает километры, оставляя тела за спиной.

— Обходим, — скомандовал я. — Пластуном. Молча.

Дозор свернул в сторону, уходя в камыши. Позади оставались тела-приманка. Впереди — дорога, река и непроверенный брод.

У кромки воды мы с Пряхой спешились; коней отвели обратно, к основной колонне, под присмотр обозных. Дальше партия шла пешком: впереди ушла наша четвёрка — я, Пряха, Оська и Кузьма, — по промоине, тихо, в камышах, мимо тел-приманки; следом, по мелкому участку брода, остальные вели раненого Федьку, придерживая его у перевязи. Позади оставались мёртвые, которых мы не стали считать. Дальше, в сизой дымке дозора, дымились костры чужой ставки. Я не знал, что там, за бугром, и ничего не обещал себе. Я знал только след: тела ещё не опознаны — свои это или чужие, узнаем, когда вернёмся; пока их кто-то выставил напоказ, и тот, кто это сделал, ждёт, что мы подойдём. Как и всё время до того, Оська читал воду. Мы шли считать километры.

***

Вода доходила до груди, местами толкала в плечи — холодная и тяжёлая, как свинцовая крышка гроба. Я шёл по струе, держась левой рукой за скользкую корягу, уходящую в темноту дна. Правая ладонь с обожжёнными пальцами была обмотана грязной тряпицей поверх

старой повязки; силовой хват она не держала, и каждый шаг отдавался в ней тупой, ноющей болью, которая давно стала мне привычнее, чем собственное имя. Вокруг стояла абсолютная тишина — густая, вязкая муть утреннего тумана, в которой нет и следа звенящей пустоты перед выстрелом и где даже вода течёт без звука.

За моей спиной, в десяти шагах, слышалось тихое бульканье — это шёл Кузьма. Он замыкал нашу четвёрку. Мы обошли бугор по воде, по пряхинскому способу, усвоенному на прежних переправах: по твёрдому дну, нащупывая каждый шаг и обходя илистые ямы: ил чавкает под сапогом и выдаёт тебя с головой, а замки фузей держали поднятыми над водой. Холод пробирал до костей, суставы сковывало, лёгкие горели от необходимости дышать ртом, чтобы не захлебнуться сыростью, но мы шли молча. Ни слова. Ни вздоха лишнего. Только ритм движения и счёт вдохов, который я задал Оське на берегу: один вдох — один шаг. Мальчишка, идущий третьим, старался изо всех сил, его лицо было бледным пятном в серой мгле.

— Командир, — голос Пряхи долетел откуда-то сбоку, почти беззвучно. Он уже выбрался на берег ложбины, хрипло выдохнул воздух из лёгких и протянул мне руку. — Здесь сухо.

Я перехватил его кисть, чувствуя мозолистую шершавость кожи, и выбрался из воды. Сапоги чавкали, одежда липла к телу, но здесь, в низине за бугром, земля была твёрдой. Я оглянулся. Партия собиралась на склоне, мокрая, дрожащая, но стройная. Никто не сорвался, никто не крикнул. Мы прошли через ловушку врага, не попав в неё ни единой ногой.

Я посмотрел наверх, на гребень бугра, где виднелись силуэты. Там лежали они. Восемь тел. С первого взгляда — свои: кушаки, знакомые спины. Но я уже не доверял первому взгляду. Кто-то выставил их нарочито, как витрину, как послание тому, кто придёт считать, — чья рука это сделала, я не знал. И этот человек — я, Рябов. Пришёл и выжил. Это уже было победой, но битва ещё не кончилась.

— Живые? — спросил я тихо, обращаясь к Кузьме, который подошёл ближе всего.

Кузьма кивнул, выжимая подол рубахи. Его глаза были красными, но сухими — по ним было видно, что горе, способное сломать его пару дней назад, теперь сидело внутри, превратившись в холодный металл дисциплины. Там, наверху, мог лежать его земляк, но подойти сейчас значило стать мишенью. Или потерять голову. А голова командира партии стоила дороже любого трупа.

— Давай осмотр, — сказал я, доставая трофейную подзорную трубу. Левая рука уверенно легла на окуляр, правая, не держащая хвата, легла на бедро. — Сначала считаем. Потом хороним. Идём за мной.

На сам гребень мы не полезли: поднялись на обратный склон, в укрытие верб, и оттуда повели осмотр. Туман начинал редеть, первые лучи солнца резали низины, но на самом бугре всё ещё висела белесая пелена. Я прижал трубу к левому глазу. Изображение дрогнуло, затем стабилизировалось.

Первое тело лежало лицом вниз. Синий кушак, знакомый мне до тошноты, оказался завязан узлом наружу. Пояс здесь служил насмешкой. Кто-то снял его с трупа или надел обратно зеркально, специально, чтобы читатель этого знака понял: нить порвана, сеть сожжена, а тот,

кто их разложил, знать знал, чьи кости показывает. Рядом, чуть дальше, лежал другой труп. У коленей его стояла открытая шведская фляга. Крышка смотрела в небо. Пустая.

Я держался за корпус трубы и вёл ей от силуэта к силуэту, скользя взглядом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь.

Остановился. Выдохнул.

— Восемь, — прошептал я.

Пряха, стоявший рядом, тоже прищурился, не используя трубу. Его глазам хватало расстояния.

— Мало, — констатировал он.

— По журналу углежога и показаниям дезертира, ватага была числом сорок — пятьдесят. Часть я перебил, двенадцать взял живыми. Сколько их осталось теперь — не знает никто. Восемь тел об этом не скажут.

По расположению тел я предполагал одно: это приманка, выставленная нарочито, чтобы выманить нас к бугру. О том, кто её выставил и что стало с остальными ватажниками, я не знал ничего. Но подходы к телам были свежими — рядом, за пределами видимости, могли сидеть стрелки. Их и нужно было найти, прежде чем ступить на гребень.

Я опустил трубу. Голова кружилась от недосыпа и холода, но мысли текли ясно, отсечённые от эмоций. Эмоции оставили внизу, в воде. Здесь нужен был только расчёт.

— Обходим слева, — скомандовал я, указывая на склон, ведущий к протоке. — Низко. Без шума. Ищем место, откуда стреляли. Или место, откуда смотрели.

Партия двинулась следом. Мы шли гуськом, пригибаясь к земле. Травы на склоне примяло множество ног; случайность оставила бы иной рисунок. Свежие следы сапог вели к центру бугра и к самим телам — недавние подходы к мёртвым давали основание опасаться, что стрелки могут быть ещё здесь. Кто уложил тела на месте или принёс их сюда, я не знал; но подходить к ним сейчас не стоило.

И тут Оська, идущий впереди меня, замер.

Его руки, обычно такие быстрые и цепкие, медленно потянулись к поясу — ладонь сама нашла пустое место, где по походной привычке висела бы сапёрная лопата. Митрохина — та, что мы отдали обозу. Лицо мальчишки исказилось. Он увидел не просто труп. Он увидел того, кого знал по имени. Кого помнил живым. Закопать его, отдать долг, накрыть землёй — так я прочитал желание в его лице, и Оська сам шагнул вперёд.

— Стой!

Моя левая рука метнулась вперёд быстрее мысли. Я схватил Оську за запястье и резко, до хруста в суставах, одёрнул его назад, в тень ближайшего куста вербы. Мальчишка охнул, потеряв равновесие, и рухнул на колени.

— Ты хочешь закопать их сейчас? — мой голос был низким, хриплым от воды, но в нём не было интонации приказа. Был вес учителя, который объясняет физику смерти. — Тогда мы все ляжем рядом через пять минут. Подходы просматриваются с трёх сторон. Если мы соберёмся кругом у тел, мы станем статичной мишенью для стрелков, которые могут сидеть в любой кустовой полосе за пределами видимости. Мёртвые подождут, живые — нет. Сначала перевяжи Федьку, потом будем хоронить чужих.

Оська замер. Он посмотрел на свои руки, потом на меня; в глазах у него стояли страх и горе. Его порыв сорваться с места грозил положить нас всех — и выходило: сперва нужен живой Федька, мёртвые подождут.

Вместо подхода к телам он достал из сумки чистое полотно и повернулся к Федьке, который сидел чуть ниже по склону, придерживая перевязанное левое плечо. Руки Оськи перестали дрожать. Он начал аккуратно накладывать повязку, проверяя затяжку узлов. Дисциплина дозора перевесила человеческое сочувствие прямо сейчас, но сделала это через заботу о живых.

Я перевёл дыхание. Оська был остановлен — словом и рукой.

Второй удар ждал справа.

Кузьма Шумов узнал в одном из дальних тел своего бывшего соседа по бараку. Я видел, как изменилось его лицо. Брови полезли вверх, челюсть отвисла. Ноги сами сделали шаг вперёд, прочь от линии построения. Рука сжала ствол фузеи так, что костяшки пальцев побелели. Это было личное горе, острое и режущее, способное сорвать строй одним лишь своим присутствием. Если он побежит к этому телу, он выдаст позицию. Если он выстрелит в «призрака», он привлечёт внимание врага.

Но Пряха опередил меня. Старый пластун не произнёс ни слова. Он просто сделал шаг к Кузьме и положил свою тяжёлую, как камень, ладонь ему на плечо. Не толкнул, не ударил. Просто надавил, пригибая солдата к земле.

Кузьма вздрогнул, пытаясь выпрямиться, но давление учителя было неотвратимым. Пряха кивнул головой в мою сторону, его глаза были холодны и пусты.

— Считай глазами, — прошептал Пряха совсем тихо. — Руки убери. Твои слёзы шведу не страшны, а твои шаги — слышны.

Кузьма сглотнул ком в горле. Его кадык дёрнулся. Он посмотрел на тело земляка, потом на Пряху, потом на меня. Медленно, с усилием, будто поднимая штангу, он опустил ствол фузеи. Присел возле меня, в тень вербы. Его лицо стало маской, и по этой маске я понял: он вернул себе выдержку.

Я кивнул им обоим. Строй восстановился. Теперь можно работать.

— Продолжаем осмотр, — сказал я, снова поднимая трубу. — Нам нужно понять характер площадки. Это поле боя или выставка?

Глава 3

Я фокусировал оптику на ближайшем теле. Деталь важна. Одежда: смесь мундиров. Русские кафтаны, синие шведские куртки. Смесь, типичная для ватаги Хьельма, собранной из дезертиров обеих сторон. Но вот положение тел... Они лежали слишком ровно. Как солдаты на смотре. Головы повёрнуты в одну сторону — на дорогу. Ноги вытянуты. Никаких следов борьбы вокруг них. Никаких луж крови, растёкшихся естественным образом. Кровь была сухая, почерневшая, явно старше двух дней.

Это не бойня. Это витрина.

Кто-то специально уложил тела в ряд, развернул их лицом к дороге. Это сообщение тому, кто придёт считать. Сообщение написано языком презрения к предшественнику и вызова новому гостю. Тот, кто уложил эти тела в ряд, говорил с нами без слов: я здесь новый хозяин. Он оформил тела как товар.

— Пока рано говорить про засаду, — сказал я, опуская трубу. — Сначала обойдём и посмотрим следы.

Пряха хмыкнул, но не согласился.

— Тишина слишком чистая, — заметил он. — Слишком чисто для места бойни. Посмотри туда, в ложбину за бугром. Видишь дым?

Я посмотрел. В низине, защищённой от ветра склонами, действительно виднелась тонкая струйка дыма. Но поднималась она слабо, угасая.

— Обходим, — решил я. — Аккуратно.

Мы спустились в ложбину. Траву здесь примяло сильнее. Мы шли по краю, избегая центра, пока не наткнулись на следы ухода. Лёжка. Свежая. Люди сидели здесь недавно. Очень недавно.

Пряха присел на корточки и потрогал землю. Его пальцы нырнули в мягкий грунт, вынули щепотку пепла; он растирал её подушечками, пробуя тепло.

— Тёплый, — сказал он. — Угли ещё тёплые.

Рядом, в траве, валялось огниво. Я подхватил его левой рукой. Тяжёлое, стальное, с медной ручкой. На самой ручке была выгравирована деталь, которую я не мог не заметить. Стрела, пробивающая щит. Знак корпуса Спарре.

Я перевернул огниво в руке. Роса покрыла его, но металл блестел. Это не случайная находка. Это визитная карточка. Враг побывал здесь час назад. Или меньше. Он наблюдал за нами, пока мы подходили к бугру. Видел, как мы обходим воду. Видел, как мы считаем тела.

Казалось, он позволил нам найти эту лёжку. Так, по крайней мере, читалось по всему: нас здесь читали. Нас здесь вели.

Угрозы здесь пока не чувствовалось — во всяком случае, пока мы проверяли лёжку и окрестности, засады не было. Похоже, враг уходил. Похоже, он не собирался убивать нас на этом месте. Точнее, весь расчёт его строился на том, чтобы деморализовать точностью знания о тебе. Показать, что он видит твои шаги едва ты соберёшься их сделать.

Гнев вскипел во мне, горячий и быстрый. Хотелось броситься в погоню. За этим человеком, который оставил огниво как перчатку. Найти его. Сломать ему шею за то, что он играет с нами, как кошка с мышью. Моя левая рука сжалась в кулак, ногти впились в ладонь.

Но я остановил себя. Я вспомнил приказ Головина и маршрут, выданный дозору: никакой карты сражения у нас не было — только дорога на бересте и приказ. Вспомнил цену ошибки. Погоня за одиночным разведчиком на незнакомой территории — это смерть. Цель дозора — не месть за Хьельма, не личная обида Спарре. Цель дозора — безопасность армии. Безопасность двадцати тысяч людей, идущих следом.

Если я сейчас побегу в погоню, я потеряю партию. Если я потеряю партию, армия останется без глаз. И тогда Спарре выиграет без боя.

Я выдохнул. Гнев остыл, сменившись холодной ясностью.

— Не бежим, — сказал я, глядя на лица своих бойцов. Они ждали команды. Кузьма уже готов был сорваться с места. Оська напряг мышцы ног.

Я встал, выжимая подол рубахи. Вода стекала на землю маленькими лужицами.

— Копайте быстро, — приказал я. — Без крестов. Плитняком. Мы уходим к колонне.

Работа началась. Это был компромисс между долгом перед мёртвыми и требованиями живых. Долго копать могилы нельзя — время уходит, риск возрастает. Но оставить тела открытыми нельзя — запах крови привлечёт мародёров или зверей, а вид трупов деморализует молодых солдат, идущих следом. Решение напрашивалось простое: завалить останки камнями и ветками, а тело земляка укрыть между двух досок, чтобы спрятать их от глаз и затруднить зверю доступ, но не хоронить глубоко.

Почва на склоне была каменистой, пропитанной золой пожарища. Копать как следует было нечем — только кирка Федьки да тяжёлые доски от разрушенной телеги, валявшиеся рядом. На всю работу ушли бы не одни полчаса, будь у нас лопата; без неё глубокой могилы для восьми тел не вырыть и за час.

Две широкие сосновые плахи, мокрые от росы, отдали Гордею с Харитоном — они унесли их крепко. Федька Малой, ещё слабый после раны, полученной на гати, подал им лёгкие ремни, чтобы стянуть доски.

— Клади сюда, — я указал на первое тело. — На тело. Не на землю. Чтобы зверю было труднее его достать.

Кузьма наконец собрался с духом. Судорожное дыхание стихло, взгляд снова стал ясным и спокойным. Он подошёл к телу своего земляка. Его руки дрожали, но ноги стояли твёрдо.

— Я сам положу, — сказал он глухо.

Он наклонился, связывая запястья мёртвого сыромятной жилой, которую мы использовали для подсечки всадников ещё на старой переправе. Тело превращалось в пакет. Затем то же самое с ногами.

Гордей вместе с Кузьмой подняли тело, я поддержал доску левой рукой — правая с ожогами почти не слушалась. Тело шло вверх легко — сказывалась худоба ватажника. Его положили на одну доску, сверху вторую. Получилось подобие гроба-конверта. Грубое, солдатское, но уважительное.

Остальные семь тел были обработаны быстрее. Я осматривал каждое, прежде чем оно уходило под камни и ветки. Я зачерпнул горсть золы из остывающей лёжки. Пока нёс её в кулаке, в золе ещё держалось тепло. Я сыпал её на лица мёртвых — просто чтобы спрятать лица, чтобы молодые бойцы партии не глядели на чужую агонию и муку. Лица становились серыми, неразличимыми. Как маски.

Под большим плоским валуном, торчащим из склона, была естественная ниша. Мы заталкивали туда связанные тела, прислонив их друг к другу. Сверху заваливали мелкими камнями и ветками терновника. Это не могила. Это склад. Так делают солдаты, когда времени мало, а уважения много.

Кузьма последним положил на верхнюю доску свой носовой платок. Белый холст — я помнил его мокрым: на том привале Кузьма поил из него водой Нильса. Он стал меткой для своих.

— Чтобы нашли свои, если придут позже, — сказал он, не глядя на меня. — Или чужие, если будут читать знаки.

Я запомнил этот белый платок на доске. Кузьма прощался с земляком по-своему, и мешать ему я не стал. Пусть война отнимает у людей всё, но эту малость человечности она у нас не отнимет.

Работа заняла больше получаса. Когда мы закончили, с дороги это выглядело как естественная осыпь камней и веток. Гарь и ветки терна лишь приглушали запах крови.

— Уходим, — скомандовал я.

Партия построилась гуськом вдоль обочины. Пряха замыкал строй, его глаза бегали по кустам, проверяя обратный путь. Оська шёл впереди, держа дистанцию. Я шёл в центре, контролируя состояние людей.

Тишина вокруг стала другой. Раньше она была пустой, теперь — наполненной. Ощущение взгляда между лопаток. Колючий, изучающий. Спарре, должно быть, наблюдал. Он не стал атаковать во время погребения. А значит, позволил нам завершить ритуал. Зачем? Чтобы показать силу? Чтобы дать нам надежду? Или чтобы передать последнее сообщение?

Мы выходили на основной тракт. Солнце поднималось выше, рассеивая туман. Гул идущей следом армии становился громче. Барабаны били ритм движения. Мир возвращался к своей обычной жизни, оставляя нам это странное, мёртвое поле позади.

И тут я остановился.

У обочины, в том месте, где начинался подход к бугру, росла старая ива. Её ствол был частично оголён от коры, но форма дерева выбивалась из общего ряда кустов своей изогнутостью. На стволе, на высоте человеческого роста, виднелась свежая зарубка.

Не просто порез. Вырезанный контур.

Стрела, пробивающая щит.

Тот же самый знак, что был на огниве, найденном в лёжке засады.

Я подошёл ближе. Провёл пальцем по ране на дереве. Кора ещё не успела потемнеть от окисления. Соки были свежими, пахли горькой полынью и сырой древесиной. Это сделали сегодня утром. Пока мы шли к бугру, пока считали тела, пока хоронили, кто-то подошёл к этому месту и оставил метку.

Пряха подошёл сзади. Он не трогал дерево, он нюхал воздух у ствола.

— Свежий сок, — сказал он. — Пахнет полынью. Кто рубил, тот знал, где мы будем проходить обратно. Или ждал нас тут?

Я посмотрел на дорогу. Пусто. Следы сапог вели к тракту, но они не совпадали со следами шведской конницы. Это пеший ход. Один человек. Быстрый. Точный.

— Он не ждал, — ответил я, глядя на зарубку. — Он пришёл посмотреть. И написал письмо.

Я снял нож «А. Р.» из ножен. Левой рукой, уверенно и аккуратно, я срезал кусок коры с зарубкой. Не ломал ветку, не портил дерево лишний раз. Я забирал доказательство. Это вещдок. Это подпись противника.

Я снял с груди медный компас-самоделку, данный мне матерью Митрохи.

Оська, всё ещё мокрый, но уже собравшийся, встал рядом и смотрел через моё плечо. Я раскрыл крышку. Магнитная стрелка дрогнула и легла на север.

— След уходит на запад, — сказал я, сверив его со стрелкой. — Он ушёл на запад. К переправе.

Это не просто направление. Это подтверждение плана. Спарре ведёт их туда, где будет битва. Он играет с нами в кошки-мышки, но правила игры диктует он.

Кузьма подошёл к дереву. Он видел зарубку. Он помнил огниво.

— Он нас читает, командир, — сказал он тихо. — Как книгу. Знает, что мы придём считать своих. Знает, что мы пойдём обратно этой дорогой.

— Да, — я убрал кору в карман. — Но он ошибся в одной главе. Он думал, что мы будем рыдать над телами. А мы их спрятали и пошли дальше. Теперь он не знает, сколько мы знаем.

Враг имел имя — Спарре, метод — знаки и цель — личная встреча. Мы должны были отвечать на его письма своими.

Солнце окончательно вышло из-за горизонта. Тень от ивы длинно тянулась по траве. Партия вышла на основной тракт, где слышен гул русской армии. Я сворачивал карту пути, которую вёл на бересте.

— В лагерь, — сказал я, поднимая воротник мокрой куртки. — Докладывать Клокову. И искать воду.

***

Гул идущей следом армии врезался в уши, как физическая тяжесть. Мы шли дальше по тому же тракту, которым пришли, мокрые, с запахом гари и свежей древесины на одежде. Солнце уже пробивало низкую облачность, но воздух оставался ледяным, пробирающим до костей после утренней воды и утреннего напряжения. Партия держала строй по инерции, без команды: каждый знал своё место, каждый нёс свой груз опыта последних часов. Тела ватажников Хьельма остались за спиной, скрытые под плитняком и терновником, но их геометрия всё ещё стояла у меня перед глазами. Слишком ровная. Слишком витринная.

Пряха шёл замыкающим, обшаривая взглядом кусты вдоль обочины — контролировал дорогу позади. Оська держал дистанцию впереди, его пальцы нервно теребили край мокрого плаща. Кузьма шагал рядом со мной, лицо его застыло маской, но жилы на шее вздувались так, что я готов был поклясться: он всё ещё слышал хрип своего земляка, хотя тот два дня как мёртв. Федька шёл чуть позади, придерживая больное левое плечо. Я чувствовал свою правую руку — ладонь с обожжёнными пальцами, обмотанную грязной тряпицей поверх старой повязки. Боль — тупая, фоновая, ставшая частью меня. Левая рука привычно сжимала рукоять ножа «А. Р.», спрятанного за поясом. В кармане лежала срезанная кора с зарубкой-стрелой. Вещдок. Письмо врага.

Пора говорить. Но слова штабных крыс были опаснее шведских пуль.

Обратный путь занял остаток дня: колонна шла по безопасному тракту, проверяя обочины, и только к вечеру встала на привал перед рекой. Мы свернули к лагерному стану. Повозки интендантов стояли хаотично, но движение колонны уже упорядочивало их в длинные линии. В центре лагеря, у палатки Клокова, горели костры роты. Там нас ждали как отчёт; героев из нас штаб не делал.

Сержант Клоков сидел на перевёрнутом ящике, перебирая бумагу. От усталости лицо его посерело, но глаза оставались живыми, холодными. Рядом с ним стоял адъютант генерала, молодой офицер с папкой под мышкой и планшетом, где уже лежал чистый лист журнала. Это

был Вейль. Он смотрел на нас как на помеху расписанию, в которой людям места не находилось.

— Сержант, полк стоит уже час, — голос Вейля резал тишину лагеря, звонкий, уверенный, привыкший отдавать приказы тем, кто ниже по званию. — Генерал требует движения. Где дозор? Почему молчим? Карта указывает на надёжный брод через Ворсклу. Если мы сейчас не тронемся, мы потеряем темп перед авангардом.

Клоков не поднял головы. Он медленно сворачивал бересту с чертежом Оськи и клал её в карман мундира, поверх сердца.

— Дозор работает, — сказал он ровно, без интонации оправдания.

— Работает? — Вейль фыркнул, ударив сапогом о землю. — У нас приказ идти на брод. Карта есть. Бумага выше подозрений. Если вы сейчас не дадите команду на выступление, я лично напишу рапорт бригадиру о потере темпа и неподчинении приказу о немедленном выходе на рубеж. Ваша партия, Рябов, станет обузой для обозной службы. Картошка растёт быстрее, чем слава, капрал.

Не просто презрение. Ловушка. Вейль использовал устав как скальпель, чтобы разрезать нашу выучку, превратить осторожность в трусость, а профессионализм — в самовольство. Для меня потеря партии означала смерть метода. Для армии — слепое следование карте, которая лгала.

Я сделал шаг вперёд. Голос я держал тихим, но каждое слово должно было лечь на стол так, чтобы его услышали все окружающие офицеры.

— Ваше благородие, — начал я, глядя Вейлю прямо в глаза. — Это не примета трусости. Это подпись врага.

Я достал из-за пояса огниво, найденное в лёжке засады. Тяжёлое, стальное, с медной ручкой и выгравированной стрелой, пробивающей щит. Знак корпуса Спарре. Я положил его на стол Клокова. Звук металла о дерево глухой, но в наступившей тишине он прозвучал как залп.

— Он оставил нам знак у дороги, — продолжил я, не повышая голоса. — И он знает, где мы будем идти дальше. Я сам до брода не дошёл, воды не видел — но враг метит свой след слишком уверенно, и я подозреваю худшее. Дайте мне час на проверку: опущу груз на шнуре, и шнур покажет глубину — годен брод или утонет в нём лошадь вместе с всадником.

Вейль усмехнулся уголком рта, высокомерно и сухо.

— Красиво сказано. Но слова не двигают артиллерию. Слова не проверяют глубину. Дайте мне доказательство. Всё, что вы сейчас сказали, — чистая поэзия. Или идите по карте. Каждый час простоя — риск.

— Доказательства нет, — ответил я. — Есть только риск. И этот риск я беру на себя. Пишите моё имя первым в списке виновных, если брод окажется годным. И пишите его последним, если колонна тонет. Я ставлю свою голову против одного часа вашего офицерского спо-

койствия. Провал разведки — моя ответственность. Голова моя. Но выход колонны без проверки — ваша. Выбирайте, кому писать вину. Мне или себе?

Тишина повисла густая, вязкая. Офицеры возле стола замолчали, прислушиваясь. Вейль смотрел на карту, потом на моё лицо — как мне показалось, он видел там человека, честно посчитавшего цену и готового платить головой. Уставные люди вроде него, я догадывался, привыкли считать нас хаотичными, а мы были дисциплинированны в своём ремесле. Если он отправит армию на непроверенный брод и колонна начнёт тонуть, журнал будет подписан им — и карьера его ляжет на дно вместе с колонной, ещё до того, как вода достигнет ртов солдат.

Вейль медленно убрал перо.

— Час. Не больше. Если к исходу часа вы не принесете воду в руках, я лично вычеркну вашу партию из списков действующих частей.

Но победа над Вейлем — лишь первая ступень. Вторая ждала в тылу. Каптенармус — старый, крючковатый мужик в засаленном кафтане — подошёл к столу, когда конфликт иссяк. Споры его не занимали — ему нужны бумаги.

— Холста на поплавки и краски на разметку дна не выдам, — бурчал он, пряча руки в рукава. — Нет расписки от старшего офицера на расход казённого добра. Приказ есть, бумаги нет. Мне всё равно, что колонна ждёт, господин капрал. Сначала бумага, потом добро. Иначе ты мне кражу оформишь.

Бюрократическая петля. Рассчитанная на то, чтобы остановить порыв временем и страхом. Я не стал спорить. Просить бесполезно. Нужно покупать. Но не деньгами — статусом и металлом.

Вынув из кармана трофейный серебряный рубль — царскую чеканку, тяжёлую и звонкую, — я положил монету на ладонь каптенармусу; она блеснула в свете костра.

— Это не взятка, — сказал я спокойно. — Это залог. Беру материал под свою ответственность. Если вернёмся — спишете расход по акту дозора. Если нет — считайте, что пропали вместе с добром, и монета покроет убыток казне. Так честнее для вас. Напишите расписку сами — подпишу.

Каптенармус взвешивал серебро. Глаза его бежали: страх перед начальством боролся с жадностью и здравым смыслом. Монета настоящая. Ответственность снята. Он достал уголёк и клочок бересты.

— Пиши, — прорычал он. — Сам пиши. Я только печать поставлю.

Я быстро написал крупными буквами, придавив бересту к колену правым предплечьем: Три фунта охры, пять кусков холста, два десятка свинцовых грузил. Подпись: Унтер Рябов. Каптенармус поставил жирную кляксу чернилами — знак принятия.

Расписка написана кровью кошелька. Теперь у меня есть материал.

Офицеры разошлись, оставляя нас с Клоковым. Сержант ходил из угла в угол, потирая руки. Время шло. Лагерь готовился к ночлегу, но лошади дышали в сумерках, готовые к движению. Любая задержка теперь видна всему штабу.

— Ты поставил меня в положение, Рябов, — тихо сказал Клоков, останавливаясь напротив меня. — Вейль теперь будет смотреть на каждый твой шаг как на потенциальный трибунал. Почему ты не сказал мне заранее? Почему не подготовил бумагу?

Я посмотрел ему в глаза.

— Потому что бумага не читает воду, господин сержант. Бумага читает только чернила. Если бы я дал вам время сомневаться, вы бы выбрали безопасность. А я выбрал жизнь колонны.

Клоков резко обернулся. Его лицо искажалось злостью, которая тут же переходила в усталую горечь.

— Ставлю твою голову против одного часа, — произнёс он почти шёпотом. — Кому ты её закладываешь? Себе? Шведу?

Я не отвечал сразу. Смотрел от стола на огоньки лагерных костров, на тени солдат у повозок. Двадцать тысяч человек. Среди них те, кто не умеет плавать. Кто просто шагает за барабаном.

— Тем, кто за нами идёт. Их двадцать тысяч. Я закладываю голову за тех, кто не может за неё заплатить.

Клоков замолчал. Я сам вспомнил тот редут, где я вытащил раненых несмотря на запрет, — и в этом молчании, по-моему, читалась та же мысль: для меня долг перед «маленькими» важнее долга перед «начальством».

— Иди, — Клоков махнул рукой. — Только вернись. Если ты утонешь, я буду писать рапорт о твоей гибели как о героической жертве. Если придёшь с пустыми руками, я буду писать о твоей трусости. Выбирай исход сам.

Ставка принята. Грузила, холст и краска — при мне. Можно работать.

На вечернем привале перед рекой мы вышли к берегу ниже лагеря. Тьма сгущалась, только луна отражалась в воде серебряной полосой. Холод проникал сквозь сапоги, обжигая ноги, сковывая мышцы. Пряха стоял по колено в воде, держа в руке длинный шест с привязанным грузилом — простейший щуп, собранный из того, что было под рукой. Оська и Федька стояли рядом, дрожа от нетерпения и холода.

Задача была проста: научиться видеть дно без глаз и найти настоящую переправу.

Пряха опустил грузило. Оно ушло в воду бесшумно, натягивая верёвку.

— Щепа читает течение, — сказал он одними губами, не оборачиваясь. — Красная струя показывает дно. Грузило меряет глубину. Но главное — нутро. Руки — уже потом. Слушайте воду. Она стонет, когда встречает камень, и шепчет, когда ложится на песок.

Оська, мокрый после утренней воды, пытался повторить движение. Он опустил в воду шнур с узлами через локоть и грузилом и, не проверив отметку, крикнул:

— Два локтя! Тут два локтя! Глубина нормальная, фуры пройдут!

Пряха молча вытащил свой шест с грузилом. Оно висело тяжело, натягивая сыромятную жилу.

— Три локтя, — спокойно констатировал учитель. — И внизу вязкий ил: грузило в него вязнет. Первая же ось провалится. Ты отмерил на глаз, Оська. А надо было опустить до дна и считать по узлам.

Лицо мальчишки стало багровым — от стыда и злости, как я понял. Я видел: мальчишка чувствовал себя обманутым собственными чувствами, а наука для него теперь — магия, недоступная.

— Да ну тебя! — он швырял шнур с грузилом обратно в воду с плеском, показывая независимость. — Сам считай, раз умный!

Он хотел уйти, хлопнуть сапогом о берег. Злость на собственный промах била в голову сильнее, чем желание разобраться.

Я перехватил его за плечо. Хват крепкий, но не болевой. Левой рукой. Правая ладонь с обожжёнными пальцами ныла под рубахой.

— Стоять, — голос мой был низкий, заглушающий шум реки. — Ты ошибся. Это нормально. Плохо то, что ты бросил инструмент. Инструмент не виноват, что ты им не владеешь.

Я развернул Оську к воде.

— Пересчитай. Медленно. Опусти грузило до самого касания дна и считай узлы — вот тебе и глубина. Вытяни назад: если тянет вязко, будто из смолы, — внизу ил. А если грузило «прыгает» — значит, там камни. Не спеши. Тишина важнее скорости.

Оська, всё ещё злой, снова опускал грузило — плавно, до самого дна, и медленно вытягивал шнур назад, считая узлы. Тишина длилась минуту. Вода вокруг нас дышала холодом.

— Три локтя... — прошептал он. — По узлам так же. Ил. Мягкий. Не держать.

Пряха отметил правильный замер новым узлом на шнуре и кивнул.

— Верно. Теперь ты знаешь, где смерть. Иди дальше.

Оська открыл глаза. В них не осталось ярости, только холодная сосредоточенность. Я смотрел, как он пересчитывал ещё дважды. Три раза подряд верно. Вот она, дисциплина учёбы — и заплачена собственной злостью мальчишки, дешевле не выйдет.

Пока Оська учился чувствовать дно, Кузьма и Федька занимались починкой старых жердей для будущего настила. Они считали, что придётся строить мост самим, если брод мёртв. Работа шла молча, ритмично.

Федька толкал доску волоком по песку, берёг плечо, потом остановился.

— Командир, — позвал он меня. — Глянь сюда.

Глава 4

На берегу выше по течению, в камышах, виднелись свежие следы рубки. Щепы. Много щепы. Белой, влажной, пахнущей смолой и сырой древесиной. Я подошёл ближе. В темноте, за зарослями, мелькали силуэты. Люди работали. Они не охраняли брод, они готовили переправу для себя.

Плотбище. Кто-то строил здесь настил. Прямо сейчас. Ночью.

Настоящая переправа не там, где карта. Она там, где труд. Шведы не будут ждать нас на мёртвом броде. Они построят живой выше. Федька заметил щепу и следы ночной рубки — они и указали нам настоящую переправу.

Я вернулся к партии. План менялся. Нам не нужно искать глубокий брод. Нам нужно найти место, где шведы сами сделали дорогу.

Я разворачивал бересту, на которой Федька набросал схему расположения щепы и следов фур.

— Мы не идём к броду с карты, — сказал я вслух, чтобы все слышали. — Мы идём к плотбищу. Там следы настоящей переправы. А что на ней стоит — увидим сами.

Пряха кивнул. — Сейчас проверю воду у плотбища. — Он уже взялся за размеченный шнур. — Только тихо. Вода слышит ноги лучше, чем уши слышат шёпот.

Оська, уже одетый в сухую рубаху, держал в руках банку с красной краской, полученную за серебро.

— Я пойду первым, — предложил он. — Я чувствую дно.

Я смотрел на него. Видел, как мальчишка выпрямился после ошибки.

— Ты пойдёшь вторым, за моей спиной. Пряха — третьим. Кузьма сейчас проверит полосу до края камыша и вернётся на берег держать страховку. И запомни: если грузило прыгает — не спеши. Пересчитай.

Кузьма взял верёвку с грузилом. Он спокоен. Горе по Митрохе ушло вглубь и осело в нём профессиональной холодностью. Он вошёл в воду по грудь, проверил полосу до самого края камыша и вернулся на берег — держать страховку выходящим. Бульканье тихое.

Я последний раз смотрел на лагерь. Там, в палатке Клокова, горел одинокий фонарь. Сержант ждал. Он сделал свой выбор — остановить армию ради неизвестности. Теперь очередь моя сделать выбор ради неё же.

Вдруг с дороги послышался топот коня. Гонец. Молодой пластун из пополнения, выдохшийся, с седой головой от пыли. Он подъехал к нам, спрыгнул с коня и протянул узелок.

— От матери Митрохи, — хрипло сказал он. — Передала через обоз. Сказала: «Пусть ест. Пусть помнит».

Кузьма замер. Узелок был маленький. Внутри — краюха хлеба, завернутая в чистую тряпку, и записка, написанная корявыми, но аккуратными буквами. Вернёшь старшиной.

Кузьма вздрогнул, глядя на записку, и сжал краюху так, что пальцы побелели. Наказ работал как лекарство. Кузьма сел на берег на короткой паузе между делом, откусил хлеб и жевал медленно, глядя на реку. Я понял: с этим горем он теперь дойдёт с нами куда угодно.

Исход часа близок. Если мы упустим момент, авангард уже будет на настиле. Время уходило.

Я собрал партию.

— Ждём сигнала, — командовал я. — Если не вернёмся до третьего крика выпи — считайте нас пропавшими. Но не бегите спасать. Бегите предупреждать армию.

Выходили только мы трое: я первым, за мной Оська, за Оськой Пряха; Кузьма, Федька и остальные оставались на берегу прикрывать. Колонна позади оставалась неподвижной, задержанная одним словом сержанта и одним серебряным рублём.

Впереди ждал настоящий бой. Противником здесь была вода, пушки подождут. Мы знали: враг строит переправу по ночам. По этой ночной работе, по щепе и следам фур, мы и выйдем на его настоящую дорогу.

Я двинулся вперёд, в ночь, к самой кромке берега, где сырая трава спускалась к воде.

***

Щепа вошла в воду с тихим, почти неслышным бульком. Я отпустил её так, чтобы течение само подхватило лёгкое дерево, не давя и не толкая. Пряха лежал рядом, погрузившись в сырую траву, только его серые глаза сверкали в темноте, следя за дрейфом.

Впереди, за триста шагов, горели факелы. Там, где по карте генерального штаба проходил «надёжный брод», стояли паромы, козлы и часовые с ружьями наперевес. Красиво. Уверенно. Как на параде. Свет от огней отражался от поверхности реки ровной, непрерывной полосой. Странно. Похоже на тихую глубокую воду — но глаз в темноте обмануться может. Настоящий ответ даст только шнур с грузилом.

— Карта врёт, — шепнул Пряха одними губами, не оборачиваясь. — Но она врёт красиво. Смотри туда.

Я прищурился. Щепа двигалась прямо. Она не цеплялась за дно, не останавливалась на отмелях, не крутилась в водоворотах. Она летела по воде, будто над бездной.

Пряха подполз к самому краю берега, откуда вниз по течению уходила предполагаемая дорога, и опустил размеченный шнур с грузилом. Шнур пошёл за несколько саженей — и

только потом грузило легло на дно. Пряха тянул обратно медленно, узел за узлом, и я видел длину мокрой части шнура, а на конце грузила висела тёмная, тянущаяся сопля — вязкий ил.

— Мёртвая вода, — констатировал я тихо, чувствуя холод, который проникал сквозь рубаху и впивался в кожу. — Там нет дна под колёса. Там есть только декорация. Они построили это для нас. Чтобы мы полезли и утонули. Или попали под огонь, пока барахтаемся.

Первый удар. Мы верили бумаге, а бумага оказалась театральной занавеской. Враг не просто защищал проход — он заманивал в ловушку. Если колонна пойдёт сюда на рассвете, под наблюдением шведских стрелков, которые будут сидеть в камышах на противоположном берегу, двадцать тысяч человек превратятся в мишень для воды и свинца. Лошадь утонет вместе с всадником, не успев сделать шаг. Люди захлебнутся в иле, который здесь глубже, чем кажется.

Но мы не были слепыми. Я развернулся и посмотрел вверх по течению, туда, где темнота сгущалась, а берега становились круче и заросшими. Там река делала плавный изгиб, огибая низкий холм, покрытый кустарником. Среди чёрных вод тянулась лёгкая, почти невидимая рыжеватая полоса — охра — глина, поднятая со дна тяжёлыми грузами. Чистая вода была здесь спокойной — так бывает у глубины. Мутная полоса говорила о мелководье, взбаламученном колёсами фур или сотнями ног. Пока это была лишь догадка; правду скажет только грузило.

— Свежий след, — сказал Пряха, поднимаясь на локте. — Они тащат что-то тяжёлое. Не людей. Пушки. Или обозы. Настоящая дорога там. Где труд.

Мы снялись с места. Движение стало бесшумным, пластунским. Мы входили в воду по колено, потом глубже. Холод обжигал ноги, сковывал мышцы, но люди шли молча, зная, что любой звук здесь равен смерти. Кузьма с Федькой и частью партии остался на сухом прикрытии на нашем берегу; Кузьма держал фузею наготове, Федька придерживал больное левое плечо. Оська шёл за мной вторым, сжимая в кулаке банку с красной краской, полученную за трофейное серебро.

Когда мы достигли середины реки, сверху, с высокого берега напротив предполагаемого настила, спустился патруль. Три фигуры. Одна из них вела собаку.

Собака — крупная, помесь борзой и овчарки, с короткой шерстью и длинными лапами. Она бежала по кромке воды, низко опустив голову, нюхая воздух. Её нос работал лучше любых глаз в темноте. Она чуяла мокрых людей, чуяла страх, чуяла запах пороха и пота.

Собака остановилась. Она принюхалась к воде, натягивая поводок. Потом повернула голову к камышам, где залегла наша передовая тройка — я, Пряха и Оська. Она начала тянуть хозяина туда, упираясь лапами в скользкий берег. Швед, ведущий её, ругался по-своему, дёргая поводок, но зверь упирался. Он чуял добычу.

Если она залает — всё кончено. До настила далеко, но шум привлечёт внимание всего авангарда. Выстрел громче лая. Подойти ближе — риск быть замеченными. Тишина висела на волоске, тоньше паутины.

Я лежал в воде в двадцати шагах от берега. Правая рука бесполезно висела под рубахой, но левая медленно, стараясь не всплеснуть, полезла во внутренний карман куртки. Там лежал

кусочек полбы. Трофейной муки, смешанной с жиром и солью. Запах еды, которую пластуны знали ещё по хуторам, — еды, которая дороже страха. Для зверя голод сильнее приказа.

Я не мог метнуть этот комочек далеко. Расстояние было слишком велико. Но я мог бросить его вверх, по дуге, повыше над водой — на счастье, потяг воздуха шёл в её сторону, и плеск вместе с запахом жира должен был дотянуться до неё. Кусок упал с плеском в пяти шагах от берега, создавая круги. Собака вздрогнула. Она чуяла людей, но теперь её нос был забит запахом жира и муки. Животное оторвалось от направления на камыши и начало крутить головой, ища источник запаха.

Швед, потерявший контроль над поводком, потянул её за собой, ругаясь и глядя вниз по течению, прочь от того места, где залегла партия. Так я решил про него: швед, должно быть, счёл, что собака почуяла крысу или другую тварь в грязи, — другого объяснения у него не было. Тишина восстановилась. Цена была высока: один неверный бросок, и собака бы залаяла, выдав нас всей округе. Пряха сбоку только кивнул. Пахнуло усталым облегчением: горсть жира с полбой победила нюх лучше любого клинка.

Мы подошли выше по течению, вглубь густых камышей, всё ещё по воде, по грудь, держась за тростник, — и там, сквозь стебли, открылось то, ради чего мы шли через холод и смерть. Перед нами лежал настил. Настоящая переправа.

Широкие бревенчатые мостки, перекинутые через узкий проток, ведущий к основному руслу, — не паромы, не декорация. Длинный, добротный настил, сколоченный крепкими гвоздями; по нему ходили люди. Но главное — не люди. Главное — то, что стояло на этом настиле.

Под навесом из промасленной парусины, охраняемое двумя часовыми, виднелось дуло пушки. Фальконет. Лёгкое орудие, способное стрелять картечью. Рядом с ним лежали ящики с зарядами. И ещё деталь, которую видел я снизу, из воды, среди тростника: опоры настила.

Я считал их глазами. Семь опор. Первая, вторая, четвёртая... стояли в воде ровно, плотно, уходя глубоко в грунт. Третья опора выглядела иначе — чуть ниже уровнем. И вода вокруг неё, в отличие от других, не спокойна: мутная, булькающая. Из неё поднимались пузырьки воздуха, нарушая гладь.

Я подал знак Пряхе. Он приглядывался, щурясь в темноту. Его лицо каменело.

— Кажется, подпилили, — шептал он, и голос его дрогнул от уважения к мастерству врага. — Третью сваю, кажется, подпилили. Не до конца — так она должна лопнуть под весом тяжёлого груза: пушки, обоза, толпы солдат.

Настил обрушится посередине. Всё, что на нём будет, уйдёт в воду. И тут мне стало ясно, зачем здесь фальконет.

Фальконет был не для обороны. Он стоял так, что при обрушении настила он окажется на краю пропасти, но его можно быстро развернуть и вести огонь по тем, кто выживет в воде и попытается выбраться. Или наоборот: если враг увидит, что русские подходят, они могут сами обрушить настил, оставив фальконет на уцелевшей части, как приманку для тех, кто полезет за орудием.

Теперь я считал так: это ловушка второго порядка. Мы ждали укреплённую переправу, которую надо взять, а перед нами была дорога-мышеловка, которая сама убьёт идущих. Враг не ждал боя на этом месте. Он ждал гибели того, кто решит пройти здесь.

Я понимал масштаб замысла Спарре. Этот человек не просто защищал переправу. Он использовал саму землю как оружие. Брать настил в лоб — самоубийство. Обходить — долго, время уходит, армия ждёт сигнала. Нужно ударить точно в момент, когда ловушка не сработает. Когда настил пуст или когда его часть занята своими же людьми, которые не ожидают удара снизу.

Окно — рассветная смена караула. Когда часовые будут меняться, внимание рассеется. Мы не полезем через мёртвую третью опору — обойдём её вплавь, возьмём фальконет у пятой и утащим его по уцелевшей части настила к нашему берегу. Оттуда орудие бьёт по месту, где к переправе подходит их путь, — по третьей опоре. Смена отвлечёт часовых, и подпиленная свая лопнет уже под идущими по ней.

Я мысленно выстраивал схему: семь опор. Третья — мёртвая, на вражеском подходе к настилу. Фальконет — у пятой, ближе к нашему берегу. Офицер с документами (видно, что кто-то сидит в будке у орудия) — правее.

Я молча указывал Оське опоры — одну за другой, начиная с дальней, вражеской стороны. Мальчик запоминал. Он не спорил. Он знал счёт. В темноте, когда вода доходила ему до подбородка и гул далёких костров авангарда давил на уши, его дыхание сделалось частым, рваным. Он начинал задыхаться. Я видел, как его руки сжимаются в кулаки.

— Считай опоры, — командовал я одними губами, так, чтобы слышал только мальчик. Только тихий выдох. Левая ладонь щупала дерево. Я считал вслух. Один. Два. У третьей сваи ладонь легла под самую поверхность воды — и нащупала под гладью поперечный пропил, глубокий, с задравшимися волокнами. Я достал нож и снял с края распила щепотку дерева; на отщепе осталась синяя шерстяная нить, зацепившаяся на месте подпила. Три...

Оська трясся, но слушал. Его пальцы скользили по влажной древесине сваи, мимо которой мы проплывали обратно.

— Четыре... Пять... Шесть... Семь, — выдыхал он. Мне казалось, страх отступал, освобождая место для счёта. Мальчик больше не тонул в темноте — тонул в цифрах. Цифры безопасны. Цифры можно запомнить. Дно пошло под ноги — мы добрели до отмели у нашего берега. Я чертил пальцем по мокрому песку схему: семь опор. Третья — мёртвая, у вражеского подхода. Фальконет — у пятой. Офицер с документами — правее.

Оська достал свой ремень. Кожаный, дублёный, с медной бляхой. Бумагу не брал — бумага мокнет, чернила плывут. Взял нож и левой рукой, крепко, провёл остриём по коже ремня.

Засечка. Первая. Глубокая, широкая. Это первая свая, живая, твёрдая.

Засечка. Вторая. Обычная, живая. Засечка. Третья — двойная, предупреждающая: мёртвая свая, подпиленная. Пропил я нащупал ладонью, когда проходили под настилом, и показал мальчику. Он вырезал сразу две метки, одну за другой.

Засечка. Четвёртая. Пятая. Здесь стоит фальконет. Оська запоминал расстояние до пушки шагами, которые сделал в воде, и ставил на ремне метку через равные интервалы.

Шестая. Седьмая.

Он работал быстро, скрежеща сталью по коже. Этот звук тихий, но для него громче залпа. Он проверял пальцами каждую зарубку. Если закрыть глаза, если потерять ориентир в темноте, ремень расскажет ему всё: где упасть, где стрелять, где пройти.

В этих движениях мальчишка превращался из наблюдателя в картографа. Враг мог уничтожить карту в кармане адъютанта — мокрая бумага гибнет легко, — а счёт оставался при Оське, в памяти тела, что лежала теперь на его поясе.

Когда засечки были сделаны, Оська убрал ремень обратно и туго затянул его. Руки его перестали дрожать. Он был готов.

Партия продолжала отход. Мы шли по нашему берегу ниже по течению, в густые камыши, где нас ждали сухие плащи и тёплые руки Кузьмы. Никто не говорил ни слова. Тишина после разведки всегда тяжелее тишины перед боем.

***

Ночь ещё стояла глухая, до рассвета оставались долгие часы. Колонна армии стояла на ночном привале. Костры были приглушены, люди спали или чистили оружие. У штабной палатки горел одинокий фонарь. Там Клоков и Вейль.

Я вошёл в свет. За мной — Оська. Партия ждала снаружи.

Клоков смотрел на мокрых бойцов с неодобрением. Вейль сидел за столом, перебирая бумаги. Он поднял глаза, когда я положил на стол что-то тяжёлое.

Это не карта. Это щепа — отщеп, снятый ножом с подпиленной третьей сваи, когда мы проходили под настилом. И рядом — синяя шерстяная нить, зацепившаяся за отщеп на месте подпила, оставленная чужой рукой.

— Брод мёртв, — сказал я. Голос мой хриплый от холода, но ровный. — То, что ваши карты называют переправой, есть театр для дураков. Там глубина такая, что лошадь утонет вместе с всадником, не успев сделать шаг. Свет факелов отражается от гладкой воды. Промер я закончил: грузило ушло до касания дна на большой глубине по узлам, а назад мы вытащили связки ила. Дна под фуры нет — нет проходимого дна.

Вейль усмехнулся. Мне казалось, он хочет сказать, что я снова вру, снова выдумываю, чтобы оправдать своё бездействие. Но я опередил его.

— Настоящая переправа там, — тыкнул я пальцем в серую точку на горизонте, где виднелись огни авангарда. — Выше по течению. Настил из брёвен. Но он не для нас.

Я развернул ремень Оськи. Кожа пахла потом и водой. Засечки были видны даже в тусклом свете лампы.

— Вот схема, — вёл я пальцем по зарубкам. — Семь опор. Шесть живых, одна — третья — подпилена. Фальконет стоит у пятой. Офицер с документами — правее.

Клоков молча рассматривал ремень. Ценность этого предмета я знал сам — не хуже любого генерала. Карта, которую нельзя порвать ветром, нельзя смыть дождём, и которую не прочтёт никто, кто не знает счёта опор. Знаки просты, но ключ к ним — в памяти носившего.

— Они хотят, чтобы мы взяли орудие, — продолжал я. — Как только мы полезем за пушкой, третья свая лопнет под весом. Мы утонем. А они будут смотреть сверху. Это ловушка второго порядка. Приманка внутри приманки.

Вейль наконец открыл рот:

— И что ты предлагаешь? Отступить? Армия ждёт переправы. Каждый час простоя — риск.

Я смотрел на него. Во мне не было злости — только холодная уверенность человека, который уже просчитал все ходы противника.

— Я предлагаю не брать орудие в лоб, — говорил я. — Не лезть за ним, как он задумал. Я предлагаю взять так, как он не читал.

Тишина повисла над столом. Клоков медленно кивал. По этому кивку я видел: он понял.

— Он ждёт, что мы будем осторожны, — объяснял я. — Ждёт, что мы станем искать слабое место в обороне, чтобы тихо снять караул, и потому построил настил так, чтобы любая попытка захвата приводила к обрушению. Но не ожидал, что удар наш минует оборону и придётся в саму конструкцию. Мы обойдём третью сваю вплавь, возьмём фальконет у пятой как трофей и утащим его по целой части настила к нашему краю. Оттуда орудие встретит выстрелами идущих к переправе — и подпиленная свая лопнет уже под ними. А после пушку погрузим на телеги.

Я замолчал, оставив недосказанность висеть в воздухе. Это не игра слов. Это принцип пластунской войны: повернуть силу врага против него самого.

Клоков встал.

— Готовьте людей. К рассветной смене вы выходите на настил. Но по моей команде. И если хоть один из вас утонет до срока, я лично напишу в журнал имя Рябова последним словом.

Я забрал ремень. Оська протянул руку, но я оставил кожаную полоску у себя.

— Ты запомнил счёт? — спросил я тихо.

— Да, командир. Нутром.

— Тогда иди спать. До смены — несколько часов, они твои. Скоро тебе понадобится эта память сильнее, чем ноги.

Оська вышел из палатки. Ветер срывал капли воды с его лица. Ремень с зарубками остался у меня, и я верил: счёт он выучил — нутром. Кожу ещё можно отнять, но карту у него в голове — карту, которую он выучил собой, — никто не сможет украсть.

***

Туман над Ворсклой стоял стеной, плотный, серо-белый, будто кто-то разлил молоко по низинам и забыл забрать обратно. Воздух был тяжёлым от сырости и запаха мокрой шерсти, пороха и глины. Мы сидели у кромки камышей, где трава переходила в скользкий берег, и каждый знал своё место: тело само тянулось туда, где нужно быть, без всякого приказа.

Свербеев подошёл тихо, но его сапоги хрустнули на сухой корке земли так громко, что я дёрнулся. Он остановился в двух шагах, скрестив руки на груди, и посмотрел на меня сверху вниз. В глазах поручика читалось привычное для него любопытство хищника, которое он теперь научился прятать за вежливостью.

— Готовите игру? — спросил он ровным голосом, не повышая тона. — Вольноначальники воюют интересно. Можно посмотреть?

Глава 5

Я не поднял глаз сразу. Я медленно перебирал пальцами левой руки зарубки на ремне Оськи, проверяя глубину каждой. Кожа была влажной, солёной от пота и речной воды, и эти бугорки под подушечками пальцев говорили мне больше, чем любые слова офицера. Это была наша общая память, записанная сталью на коже, чертёж смерти, который нельзя было сжечь или смыть дождём.

Затем я поднял голову. Тело было вымотано бессонной ночью и ледяной водой, каждая мысль стояла на своём месте, как солдат в строю. И в этой ясности я подумал: поручику, должно быть, хочется прикоснуться к нашей силе — и страшно обжечься. Иначе зачем бы он пришёл сюда, в предрассветную мглу?

— Смотреть будете отсюда, — я указал подбородком назад, в темноту, где за кустами стояли обозные дроги Свербеева. — Или стрелять будете там же. Третьего не дано.

Свербеев усмехнулся уголком рта. Я сам выбрал деловой тон и говорил без спора, оправданий и просьб о помощи — хотя приказ капрала, отданный поручику, формально не значил ничего. Так объясняет подмастерью мастер: почему нельзя лезть в кузнечный мех голыми руками.

— Дроги? — переспросил поручик, и в его голосе мелькнуло раздражение. — Там скучно. Там нет славы. Там грязь.

— Там есть верная награда, — ответил я, глядя ему прямо в глаза. — Если мы возьмём фальконет, его нужно будет увезти. Тяжёлый, на дроги, под руки возчикам. Если мы провалимся, вам нужно будет увезти раненых. Живых, кричащих, окровавленных. Вы нужны там, где ваша рука надёжна, а не там, где она может дрогнуть от чужого азарта. Прикрывайте дроги. Это ваш пост сегодня.

Свербеев молчал несколько секунд. Обида, наверное: его ставили на вторые роли, на тыловую работу, пока мы, «пластуны», идём резать горло врагу. А я помнил то болото — его унижение и то, как я вытащил его оттуда делом. И помнил бумагу, которую он подписал, принимая мой совет о плане кордона. План строился на моём методе. Метод требовал дисциплины.

— Хорошо, — коротко бросил поручик. — Дроги. Но если шведы полезут через камыши, я буду стрелять сам. Не спрашивая разрешения.

— Будете, — согласился я. — Но только после моего сигнала. Тишина важнее вашей меткости. Одна лишняя вспышка курка — и всё кончено.

Он отвернулся и направился к повозкам, скрипя сапогами. Я проводил его взглядом. Пост у дрог поручик принял — и злость на меня в спине я чувствовал без слов. Ну и пусть: в тылу он нужнее, чем в камышах, а зрителем при нашей работе никто его не оставлял.

Я вернул Оське его ремень: карта с зарубками должна была идти в бой на поясе того, кто её сделал. Мальчишка затянул его туго и отошёл к костру, проверяя каждую засечку пальцами.

***

Федька Малой сидел на корточках, полируя ствол своей фузеи куском войлока. Лицо подростка было сосредоточенным и злым — свежая рана в левом плече, полученная ещё на гати, должна была тянуть при каждом резком вдохе, и полировка, судя по всему, давалась ему через силу. Смотрел я на это злое сосредоточенное лицо и думал: после гати он потерял право быть первым номером в паре, и теперь, наверное, чувствует себя лишним — «тем, кого тащат», «раненым ветераном», которому дали отдых ценой собственного достоинства. Мне хотелось, чтобы эта догадка оказалась неверной.

Когда я объявил состав первой тройки, Федька резко поднял голову. Его глаза вспыхнули, желваки заходили ходуном.

— Командир, я первый. Рука держит крепче, чем у Кузьмы. Плечо почти не мешает.

Кузьма Шумов, стоявший рядом, не огрызнулся. Он просто посмотрел на Федьку с тем спокойствием, которое приходит к человеку, прошедшему через ад потери друга и научившемуся жить с этим грузом. На нём висела куртка Митрохи — тёмная, тяжёлая от сырости и крови, но целая. Эта куртка говорила сама за себя.

Я подошёл к Федьке и, не повысив голоса, опустился на одно колено — быть с мальчишкой на одном уровне, заглянуть ему в душу без приказа.

— Ты остаёшься на берегу, — сказал я тихо, но так, что услышали все. — Потому что ты ещё серенький после раны. Твой долг — прикрывать с берега тех, кто идёт по воде, и поднимать их, когда они выйдут на наш край. Ты понял разницу между «идти первым» и «держать берег»?

Федька сжал челюсти так, что зубы заскрипели. По этому скрежету я догадывался, как жжёт ему горло обида: он хотел доказать, что не инвалид, что убивать может так же хорошо, как до раны. Я смотрел на него без жалости, с живой заботой о раненом: парень мне был нужен живым, с целым плечом, и его пост на берегу оставался для него собственной обязанностью перед нашими. В его глазах, как мне показалось, жило одно — боязнь остаться ненужным.

— Я не брошу их, — выдавил Федька хрипло.

— И не будешь, — кивнул я. — Поэтому твой пост — берег, при дрогах Свербеева. Кузьма — старший над молодыми в воде. Так велела мать Митрохи: он вернёт их живыми — или не вернётся вообще. Понял цену?

Кузьма шагнул вперёд и положил ладонь Федьке на здоровое, правое плечо. Жест был тяжёлым, спокойным, и под этой ладонью Федькина дрожь понемногу утихала.

— Слышал, дядя Андрей говорит? Мы идём, ты остаёшься на берегу. Но ты не полезешь в воду за нами. Ни шага. Я за тебя отвечу перед матерью Митрохи, а ты передо мной.

Федька посмотрел на эту руку, потом на меня. Кивнул — медленно, тяжело, но утвердительно. По одному этому кивку я видел: спор окончен. Цена ошибки стала слишком высока для всех нас, а его место теперь — берег, откуда он будет встречать и поднимать тех, кто выйдет из

воды. Задача эта, по моему счёту, была труднее, чем просто стрелять. Я хлопнул его по спине коротко, как ставят точку в договоре. Всё прозвучало вслух, перед всем отрядом, при Пряхе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.